

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЮЖЕТА

УДК 82-94

О. А. Фарафонова

Новосибирск, Россия

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ XVIII ВЕКА

Русские мемуарные тексты XVIII века рассматриваются с точки зрения общих тенденций в построении мемуарного сюжета, выделении таких его компонентов, без которых не обходится практически ни одно автобиографическое воспоминание. К таким обязательным звеньям мемуарного сюжета, безусловно, относятся рождение и смерть. Ситуация рождения в русской мемуаристике XVIII века, как правило, оказывается связана с семантикой начала или же продолжения (рода, например). Смерть как компонент мемуарного сюжета обладает большей семантической и ситуативной вариативностью. Будучи центрами оппозиционных семантических полей, рождение и смерть оказываются онтологически близки друг другу. В мемуарной литературе на это указывает по крайней мере то, что рождение и смерть описываются как процесс преемственности поколений, обеспечивающий вечность бытия.

Ключевые слова: мемуары, сюжет, смерть, рождение, автор-самовидец, событие.

Мемуаристика XVIII века рассматривается в этой статье не столько с точки зрения ее историко-культурной ценности, сколько с позиции выявления общих тенденций в построении мемуарного сюжета, выделения таких его компонентов, без которых не обходится практически ни одно автобиографическое воспоминание. К таким обязательным звеньям мемуарного сюжета, безусловно, относятся рождение и смерть. Сама хронология мемуарного повествования, отражающая хронологию жизни автора, обуславливает тот факт, что практически во всех известных произведениях автобиографического характера XVIII века – времени, когда сам жанр мемуаров только формируется в русской литературе, – эти сюжетные элементы присутствуют в том или ином своем варианте. Что вполне закономерно, учитывая специфику самой мемуаристики, возникающей как ответ на потребность человека Нового времени осмыслить свое «Я» и его место в истории. Именно в период петровских преобразований и в последующие десятилетия восемнадцатого столетия происходит открытие и осознание личностного начала

Фарафонова Оксана Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллюйская, 28, Новосибирск, 630126, Россия, oxana.faroks@yandex.ru)

ISSN 2410-7883. Сюжетология и сюжетография. 2016. № 2. С. 65–74.

© О. А. Фарафонова, 2016

в общеисторическом и общекультурном контексте, значимости индивидуального бытия в масштабах эпохи.

Мемуары позволяют их автору осмыслить и описать собственную жизнь в трех плоскостях, что определяет и триединую позицию автора-повествователя-героя. Во-первых, жизнь предстает как некая череда событий, оставшихся в памяти, следовательно, исключительных и чрезвычайно значимых. Мемуарный нарратив есть, выражаясь языком В. И. Тюпы, «эпизодизация событий, формирующая историю» [1, с. 184] жизни автора-мемуариста. Как отмечал Ю. М. Лотман, «поведение человека осмысленно. Это означает, что деятельность человека подразумевает какую-то цель» [2, с. 417].

Этим определяется второй план мемуарного повествования, когда сама биография автора становится событием. Но обратимся к продолжению цитаты из работы Лотмана «Смерть как проблема сюжета»: «...понятие цели неизбежно включает в себя представление о некоем конце события» [2, с. 417]. Жизнь мемуариста представляется как событие, у которого (как у всякого другого) есть две крайние точки – начало и конец, рождение и смерть. Именно эта завершенность в итоге является главным побудительным мотивом для написания мемуаров.

Третий план можно было бы назвать интенциональным, поскольку он связан с осознанием собственной жизни как исключительного события, которое, безусловно, заслуживает презентации (для XVIII века презентации еще не публичной, внутрифамильной) и осмысления с точки зрения его места в ряду других подобных событий. Жизнь «всех» в сравнении со своей собственной становится в каком-то смысле подтверждением ее исключительности. «Я» мемуариста оказывается, с одной стороны, вписано в общий процесс, но, с другой стороны, явно отделено от него. Причем это может выражаться не только в неких исторических зарисовках, но даже и в бытовых частностях. Так, например, Н. Б. Долгорукая, описывая сборы в ссылку с мужем, фиксирует: «Подумайте, каково *мне* тогда было видеть: *все* плачут суетятца, собираютца, и *я* суечусь, куда еду, не знаю, и где буду жить – не ведаю, только что слезами обливаюсь» [3, с. 266]. Соотношение «все – я» здесь весьма показательно для мемуарного жанра в целом. И, конечно, это напрямую касается таких значимых и, как уже было сказано, обязательных звеньев мемуарного сюжета, как рождение и смерть.

Специфика изображения и осмысления смерти в мемуарном тексте заключается в следующем: смерть одновременно событийна и не-событийна. Это во многом зависит от степени «включенности» (событийной, эмоциональной) автора в описываемую ситуацию. В первом случае это касается значимых для мемуариста людей (родителей, супруга, государственного «мужа» и т. п.), сам факт смерти которых важен в личной истории, рассказываемой автором.

Обратимся снова к «Своеручным запискам» Н. Б. Долгорукой, где особое внимание уделяется смерти Петра II, поскольку последствия этого события для автора «Записок» были поистине катастрофическими: ссылка вместе с мужем сначала в отдаленное фамильное имение, а затем и в Березов. «И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья, все спрятались, и ближние отдалече меня сташа, все меня оставили в угодность новым фаворитам, все стали уже меня боятца, чтоб я встречу с кем не попалась, всем подозрительно. Лучше б тому человеку не родитца на свете, кому на время быть велику, а после притти в нещастие: все станут презирать, никто говорить не хочет» [3, с. 261]. Смерть монарха в данном случае знаменует собой резкий поворот мемуарного сюжета, который можно было бы сравнить с пуантом в новеллистике, если бы не временная дистанционированность повествователя-самовидца от описываемых событий. Именно эта, обусловленная жанром, дистанция позволяет автору «предвидеть» будущее себя-героя, что, в свою очередь, снимает эффект неожиданности для читателя.

Сюжетная ситуация «смерть правителя / монарха» в череде мемуарных сюжетных ситуаций, связанных со смертью, стоит особо. По степени частотности в мемуарах XVIII века она не уступает ситуациям, связанным со смертью близких родственников, что вполне понятно: личная биография воспринимается как часть истории, поскольку собственная судьба зачастую зависела от воли монарха. Именно ощущение сопричастности истории побуждает Е. Р. Дашкову написать уже во втором предложении своих «Записок»: «Императрица Елизавета как раз вернулась из Москвы после коронации. Она воспринимала меня от купели, а крестным отцом был великий князь, будущий император Петр III» [4, с. 68]. Это же ощущение позволяет Державину писать о смерти Екатерины II: «...пошла по позыву естественной нужды в отдельную камеру, и там от эпилептического удара скончалась» [5, с. 180]. Он чувствует себя вправе сообщать подобные подробности, поскольку, «начав ей служить <...> от солдатства, слишком через 35 лет дошел до знаменитых чинов, отправляя безпорочно и безкорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ее повеления с довольною доверенностью» [5, с. 180–181]. В «Записках» Державина зафиксирована смерть четырех монархов (Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II и Павла I) и многих государственных деятелей (например, Потемкина), но только о смерти Екатерины он пишет так подробно и лично. Что не удивительно – слишком многое в жизни самого Державина связано с екатерининским временем и лично с Екатериной II.

Сюжетная ситуация «смерть правителя» как никакая другая демонстрирует неразрывность оппозиции «смерть – рождение» в контексте мемуарного повествования. Смерть одного правителя одновременно означает не только конец одной эпохи, но и начало новой. «Король умер! Да здравствует король!»: смерть одного правителя рождает другого, что вполне укладывается в схему жизненного круговорота, в котором, по словам О. М. Фрейденберг, «то, что погибает вновь нарождается; рождение да и смерть служат формами вечной жизни» [6, с. 63].

Общекультурное стремление к преодолению смерти и страха смерти реализуется в мемуарном сюжете в высшей степени. Сама жанровая интенциональность в данном случае способствует этому. И не только потому, что автор воспоминаний оставляет о себе (и своих современниках, близких) память в виде текста, но и потому, что в пределах самого мемуарного произведения не может быть зафиксирована смерть мемуариста, ее нет и не может быть в контексте мемуарного нарратива, она находится вне поля зрения автора-самовидца. Он может рассуждать о смысле жизни, бренности бытия и близости смерти вообще, как это делает, например, И. В. Лопухин, в чьих записках нашло отражение масонское представление о воскресении-перерождении: «Надобно человеку, так сказать, морально переродиться <...> Сие моральное перерождение, чрез которое только человек становится образом и подобием Божиим» [7, с. 21]. Не случайно в предисловии к первому номеру журнала «Утренний свет» Н. И. Новиков писал: «Собрание наше состоит только из десяти; а сложив вместе время нашей жизни, составит не более тридцати лет» [8, с. 107]. Что объясняется, конечно же, смертью в прежнем статусе и рождением в новой жизни. С этим представлением связан и масонский ритуал посвящения, имитирующий смерть непосвященного и воскресение неопфита.

Преодоление смерти в мемуарном тексте может быть достигнуто и просто не-описанием ее, не-упоминанием даже. В этом смысле наибольший интерес представляют «Своеручные записки» Н. Б. Долгорукой, которые она пишет в 1767 году, спустя 28 лет после страшной казни мужа. На протяжении всего текста ни разу Долгорукая не проговаривается о его смерти, это событие остается «за скобками», в пространстве текста его нет. Учитывая, что на момент написания

(по просьбе старшего сына) воспоминаний она уже схимонахиня Нектария, такое умолчание становится особенно значимым.

Еще один способ преодоления смерти в контексте мемуарного повествования – сюжет болезни-исцеления, который присутствует практически во всех текстах. Болезнь всегда в мемуарах описывается как порог между жизнью и смертью. Так пишет, например, А. Т. Болотов: «Несколько недель спустя после нашего приезда принужден я был переходить тот порог, который переступают почти все молодые люди тогдашнего моего возраста и нередко, спотыкаясь, погибают, а именно – слечь и вытерпеть жестокою горячку» [9, с. 268]. Преодолеть болезнь, пойти на поправку – значит одержать победу над смертью. Лопухин в «Записках» рассказывает об исцелении от болезни в агиографической традиции описания чудес. «Неожиданный перелом болезни» случился после того, как Лопухин, устыдившись «мерзости своего поступка» по отношению к камердинеру, которого он жестоко выругал за небольшую оплошность, «залившись слезами», бросился к нему в ноги. «Тут мне сказали, что священник пришел с дарами, – пишет Лопухин далее. – Я пошел в слезах ж причащаться, – и – причастился подлинно. Проводя священника, лег я отдохнуть. Уснул с час, и, проснувшись, почувствовал в теле моем такую теплоту здоровья, какой медики уже для меня в натуре не предполагали. Словом: я проснулся здоров» [7, с. 40–41].

Отметим, что смерть, как и рождение, в мемуарных произведениях лежат в сфере неоценочной, поскольку это события природного свойства, не зависящие от воли человека. Это касается, прежде всего, смерти естественной, как закономерного итога жизни. Смерть в результате болезни воспринимается сходным образом – все в руках Божьих. Такая смерть не оценивается с этической точки зрения, но переживается эмоционально. Речь в таких случаях идет, как правило, о смерти родителей, что, с одной стороны, безусловно, осознается как неизбежность, но с другой стороны, переживается как полная неожиданность. В «Записках» И. В. Лопухина так описывается смерть отца: «В том же году летом скончался он на руках моих: и хотя он и был девяноста двух лет, и в крайнем разслаблении; однако смерть его огорчила меня столько, как бы и за много лет перед тем случилась» [7, с. 89].

Но, как отмечал Ю. М. Лотман, «тем более значимыми оказываются случаи соединения ее (смерти. – О. Ф.) с представлениями о молодости, здоровье, красоте – т. е. образы насильственной смерти» [2, с. 420]: гибель на войне, в плену, казни, убийства. Сюда, как нам кажется, следует добавить и переживаемую как катастрофу преждевременную смерть близкого человека (смерть матери – записки Н. Б. Долгорукой и И. В. Лопухина, а также «Похождение прапорщика Климова»; смерть супруга – записки Е. Р. Дашковой и Г. Р. Державина; смерть ребенка – записки М. В. Данилова).

Если естественная смерть по старости или от болезни хотя и переживается мемуаристом трагически, но осознается, тем не менее, как закономерность и предопределенность, то насильственная или внезапная смерть представляется нарушением естественного порядка вещей: «Что касается смертной казни, то она, по мнению моему, и бесполезна, кроме того, что одному только Творцу жизни известна та минута, на которую можно ее пресечь, *не возмущая порядка его божественного строения*», – писал И. В. Лопухин [7, с. 11–12]. В «Записках» Дашковой о смертной казни также говорится как о событии из ряда вон выходящем: «После того, как казнили Мировича (*со дня моего появления на свет это был первый человек, которого покарали смертью*), я только была довольна, что никогда его не видела, иначе под впечатлением казни мне во сне могло бы представляться его лицо» [4, с. 135–136]. Даже если смертная казнь была справедливым наказанием с точки зрения мемуариста, она все равно переживалась им как нечто ужа-

сающее и из ряда вон выходящее: «В 1739 году, – пишет Данилов, – пойман был разбойник князь Лихутьев и в Москве на площади казнен; голова его была поставлена на кол. *Сие для меня было первое ужасное зрелище*» [10, с. 312].

Смерть естественная в мемуарных текстах XVIII века, как правило, фиксируется, переживается автором, но не изображается, т. е. нет описания самого момента смерти (даже если автор присутствовал при этом непосредственно – как, например, Лопухин при смерти своего отца), не изображается мертвое тело, не будет подробностей похорон и т. п. Но смерть неестественная (казнь или гибель), напротив, изображается, если и не очень подробно, то в любом случае с упоминанием конкретных деталей. В записках Данилова, например, есть несколько эпизодов, в которых описывается гибель людей в огне или угарном дыму (это связано, конечно, с родом деятельности автора-мемуариста – одного из первых русских фейерверкеров): «Как только я из светлицы вышел, как сделался в ней от неосторожности пожар: захватило всю оную огромную светлицу пламенем, пороховым и меркуриальным дымом, отчего в людях сделалось вдруг великое замешательство; <...> оным дымом у многих захватило и остановило дыхание, не могли более бежать и падали на землю без памяти. В такой кутерьме и тревоге <...> прочих подмяли под себя на пол, которых бежавшие и спасавшие свою жизнь топтали ногами, по чем ни попало <...> несколько человек мастеровых задохнулись и найдены мертвые» [10, с. 329–330]. Вид чужой смерти и осознание того, что его самого от этой участи уберегла случайность, становится словно бы предостережением для автора записок. В своей дальнейшей деятельности он был «аккуратен, до излишества», о чем написал не только в своих мемуарах, но и в «артиллерийского знания книжке» «Начальные знания теории и практики в артиллерии с приобщением гидростатических правил», которую он издал в 1762 году.

Вид чужой смерти, воспринятой как тема для размышлений и урок самому себе, описан и в мемуарах А. Т. Болотова: «...обстоятельством, удерживавшим меня от распутной жизни, было то, что не успел я смениться с караула, как на другой день после того случилось мне видеть погребение одного молодого офицера стоявшего тут до нас другого полка и умершего наижалостнейшим образом от венерической болезни, нажитой им во время стояния в сем городе. Сие зрелище <...> впечатлело в сердце моем такой страх и отвращение, что я тогда же еще сам в себе положил наивозможнейшим образом от всех тамошних женщин убежать и от них, как от некоего яда и заразы, страшиться и остерегаться. А сие много мне и помогало в тогдашнее опасное время» [9, с. 537]. «Зрелище» чужой смерти влияет не только на эмоциональное состояние мемуариста, но и заставляет его переосмыслить свою прежнюю жизнь.

Тем более, если автору мемуаров пришлось испытать на себе участь приговоренного к смерти, как, например, А. Я. Климову, которого в бытность его в прусской армии за убийство вахмистра приговорили «яко смертоубийцу аркибузировать» [11, с. 56]. Климову пришлось также быть непосредственным свидетелем страшного убийства пьяным отцом своих малолетних детей. Это событие произвело на него настолько сильное впечатление, что даже испытанные им самим лишения и страдания во время возвращения в Россию после почти 30-летнего «ига прусского», не вытеснили его из памяти, и Климов довольно подробно описывает этот эпизод и пережитые тогда эмоции в «Похождении».

Авторы мемуаров, как правило, являются свидетелями многих смертей и переживают множество потерь, что становится объектом фиксирования и описания в текстах. Многократность переживания смерти близких и знакомых мемуаристу людей, объясняет тот факт, что смерть часто утрачивает признаки экстраординарности, перестает мыслиться как событие исключительное и начинает восприниматься в несколько иных категориях: «Многократно повторяющееся действие или

положение дел перестает восприниматься событийно и предстает естественным, неизбежным “шагом” природного, социального или ментального процесса» [1, с. 183]. «А к мертвецам привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезных», – словно бы фиксирует эту особенность восприятия мемуарного нарратора Д. И. Фонвизин в «Чистосердечном признании в делах моих имышлениях» [12, с. 86].

Ситуация рождения в рамках мемуарного сюжета осмысливается и фиксируется аналогичным образом: рождение человека (любого) есть не событие, но закономерность. Рождение кого-либо конкретного (самого автора записок, например) мыслится именно как исключительное явление в череде прочих, так как это событие становится точкой отсчета собственного времени, а зачастую и времени вообще.

Например, «первый русский мемуарист» [13, с. 9] князь Борис Иванович Куракин не только собственное жизнеописание начинает с события своего рождения, но заводит свой календарь, объясняя, почему будет вести отсчет «не от первого числа по календарю, но от двадцатого каждого числа месяца, понеже то число – начало моего в рождении жития» [14, с. 244]. По этому же принципу он считал и весь годовой цикл: «А годы также считаючи июля месяца с 20 числа до тогож числа, возвращаючися чрез все двенадцать месяцев» [14, с. 244–245]. Более того, Куракин пишет, по определению Эрнеста Зицера, «астрологически ориентированный эго-документ», который может считаться «уникальным образцом русского “самосотворения”» [15, с. 163], поскольку собственное рождение он не просто фиксирует, но преподносит именно как событие космического масштаба: «Июля 20 числа 184 года, 1676 от Рождества, в начале 6 часу дня родился (по науке астрономии в квадратах фигуры о планетах долженствую объявить), в царство царя Федора Алексеевича, которой был мне восприемником, также и сестра его царевна Екатерина Алексеевна» [14, с. 244]. Интересно в данном случае, что всю свою жизнь Куракин называет «мое рождение». Например, «рождения моего тридцать третий год» [14, с. 280].

Фиксация факта своего рождения как начала достоверной истории жизни провозглашает некоторых мемуаристов на то, чтобы придать этому событию документальные основания. Возможно, это объясняется еще и тем, что событие собственного рождения находится для автора мемуаров одновременно внутри и вне поля видимости: с одной стороны, есть совершенно очевидный факт – сам мемуарист, пишущий свои записки, – он существует, значит, факт его рождения бесспорен; с другой стороны, по отношению к этому событию мемуарист не может быть очевидцем. «Не естественно человеку помнить первое свое младенчество», – так начинается книга первая «Чистосердечного признания» Д. И. Фонвизина [12, с. 84]. Поэтому авторам мемуаров в некоторых случаях приходилось привлекать и документальные свидетельства, подкрепляя ими свое рождение¹.

Такое желание отметить сам факт собственного появления на свет в общей череде подобных событий, «привязать» свое рождение к какому-либо «достопамятному» событию истории, и если не задокументировать его, то обозначить подтверждающие источники (документальные, либо событийные), отмечается не только в автобиографических записках князя Куракина.

¹ Оговоримся в скобках, что иногда вполне понятна и прагматическая интенция мемуариста, которому необходимо доказать не просто факт своего появления на свет тогда-то и тогда-то, но свое происхождение, которое должно обеспечить ему место в обществе, получение наследства и т. п. Но в итоге цель привлечения документальных свидетельств всегда очевидна – придать своим воспоминаниям достоверность.

Например, уже упомянутый выше один из первых русских теоретиков артиллерийского дела майор М. В. Данилов пишет так: «Я родился в 1722 году. Тогда отца моего разбойники разбили, и подана была на сих злодеев явочная челобитная, с которой досталась мне копия, почему я и рождения свое в сем году почитаю» [10, с. 302]. Но факт собственного рождения в «Записках» Данилова не является началом самого текста, что чаще встречалось в мемуарах и автобиографиях XVIII века. Сравним, например, с «Записками» И. В. Лопухина, который открывает свои воспоминания фразой «Я родился 24го февраля 1756 года» [7, с. 3–4]; или с началом мемуаров Е. Р. Дашковой: «Я родилась в Петербурге в 1744 году» [4, с. 68].

Начало «Записок» М. В. Данилова отличается кумулятивно-летописной структурой повествования, в которой событие собственного рождения встраивается в тщательно реконструируемую историю рода². Собственно интенция, побудившая майора Данилова взяться за написание мемуаров, заключалась именно в желании «написать происшествие фамилии нашей Даниловых» [10, с. 282]. При этом автор выступает в роли историографа, тщательным образом изучившего документы («Бархатная книга» герольдмейстерской канторы Сената) и свидетельств «изустных преданий» своих родственников.

Само возникновение жанра мемуаров исследователи традиционно объясняют появлением потребности в таком историческом повествовании, «когда свидетельство очевидца или участника событий приобретает отдельную ценность именно как личное свидетельство, выделяется из общего исторического повествования» [16, с. 248–249]. Задача «Записок» Данилова, безусловно, лично значимых для самого автора, состояла в том, что они должны были, по его мнению, не позволить ему самому и его семье затеряться в истории: «Я положил собрать и написать фамилию Даниловых не для тщеславия моего, но чтоб, наконец, от предания изустного вовсе не истребилось из памяти происхождение наших Даниловых» [10, с. 283]. Стремясь к документальной точности повествования, Данилов за точку отсчета «взял достоверное <...> в шестом поколении <...> рода имя Прохора» [10, с. 282], от которого «ведет» фамилию Даниловых. Желая установить «первоисточник» своего рода, всех предков старше Прохора Данилова, автор записок, перечисляет в абсолютно летописной манере, назвав этот фрагмент своего повествования «Сказка»: «Лета шесть тысяч шестьсот шестого года (от Рождества Христова в 1093 году) прииде немец из Цесарского государства в Чернигов, муж честен, имени Индрик, с двумя сыны своими, с Литвином да Зимондентом <...> И крестися Индрик и дети его в Чернигове в православную христианскую веру, и нарекоша им имена: Индрика Леонтием, а сыновей его Литвина Константином, а Зимондента Федором. И от Константина родился сын Харитон, а Федор умре бездетен (о сем пишет в Летописце Черниговском), а от Харитона сын Карп, от Карпа сын Юрей, а от Юрья Василий, а от Василия Федор, а от Федора дети Данила, Миколай, Василий; и от Данилы пошли Даниловы» [10, с. 284–285]. Факт собственного рождения оказывается представлен М. В. Даниловым как в диахронном (наследник древнего рода), так и в синхронном (в ряду братьев и сестер – «Отца моего дети») аспектах. Не имея возможности установить даты рождения и смерти предков, Данилов фиксирует сам факт их существования, встраивая историю рода как длинную череду жизней. Что для него, очевидно, зна-

² Специфику автобиографических повествований первой половины XVIII века, фиксирующих «событийную», внешнюю, сторону жизни автора, А. Г. Тартаковский, например, объясняет отчасти тяготением мемуаристики этого периода к летописной традиции, а отчасти «неразмежеванностью дневникового начала и собственно мемуарного, еще только выраставшего из анналистической структуры повествования» [13, с. 45].

чимо, поскольку тем самым, он устанавливает не только древность собственного рода, но непрерывность течения жизни как таковой. В таком контексте факты бездетности кого-то из предков, фиксируемые Даниловым, оказываются в не меньшей степени семантизированы: отсутствие детей нарушает естественное течение жизни, ее вечный цикл. Пресечение рода по какой-либо причине оказывается фактически его смертью. Сам автор данных записок оказывается в таком трагическом положении: умерли не только его родные дети, но и пасынки (дети его жены от первого брака). Автобиографические «Записки» выполняют в данном случае роль «детича», обеспечивая Данилову возможность «не затеряться в изустных преданиях».

В «Записках» М. В. Данилова на фоне трагически пережитых и соответственно описанных смертей есть один эпизод, в котором смерть предстает почти в анекдотическом виде. Речь идет о шутке, которую разыграл один из сослуживцев Данилова, отнесясь без должного уважения к умершей жене хозяина дома, где располагалась полковая канцелярия: «...умерла у хозяина престарелая женщина, которую, по обряду положив в гроб, вынесли на ночь в сени; морозы были тогда жестокие, отчего упокойница получила в теле окаменение. Он еще с вечера, приметя старушку в гробу, захотел из оной упокойницы сделать шутку. <...> встав перед светом <...> вынул старуху из гроба, притащил ее в полковую канцелярию и, поставив стоймя возле печи, сам лег <...> спать» [10, с. 343]. Совершенно понятно, какая суматоха началась потом. Истопник «впотьмах, зацепил за старуху, окостенелую от мороза, которая упавши на пол, сделала большой стук. Зрители <...> потуда претерпевали страх и стужу, покуда хозяин взял свою беглую старуху и положил по-прежнему в ее вечный дом» [10, с. 344]. При помощи шутника старуха получила возможность встать из гроба и принять участие в розыгрыше. Выражение «беглая старуха» используемое в данном случае Даниловым словно бы подтверждает ее участие (практически добровольное) в этом представлении. Суеверный страх перед «ожившей» покойницей сначала и пришедший ему на смену смех вполне в духе древних мистерий преодоления смерти. Игровая ситуация в данном случае сопрягает трагическое и анекдотическое начала при изображении смерти в мемуарном нарративе.

Аналогичным образом может быть представлена и ситуация рождения. Так, например, повествование «История моего младенчества» А. Т. Болотов прямо начинается с рассказа об «одном редком и примечания достойном происшествии»: «...случилось мне родиться ночью после полуночи <...>. Мать моя сидела на постели, а старушка (повитуха) молилась богу и клала земные поклоны. <...> В самую ту минуту, как назначено было мне свет увидеть, бабушка отправляла свой поклон <...>, и в самый тот момент попади крест ее в щель на полу между рассохшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно. <...> Мать моя рассказывала потом часто, что она не могла от смеху удержаться, видя сию проказу и слыша усиленные просьбы ее, чтоб немного погодила, ибо в ее ли власти было погодить?» [9, с. 32–33]. При всей комичности ситуации, она интерпретируется мемуаристом как предзнаменование: «...оное заставило мать мою в самые опасные минуты своих родов и несмотря на свою болезнь, смеяться, и <...> властно так служило некоторым предвозвестим тому, что я в течение жизни моей не столько печальных, горестных и скучных, сколько радостных минут иметь буду!» [9, с. 33–34]. А когда несколько позже Болотов указывает, что все дети до него «умирали в самом еще младенчестве», смех во время родов и вовсе начинает осмысляться как некий оберег, облегчивший страдания роженицы и сохранивший жизнь ребенку.

Ситуация рождения в русской мемуаристике XVIII века, как правило, оказывается связана с семантикой начала (иногда абсолютного, как в Vita Куракина) или

же продолжения (рода, например). Смерть как компонент мемуарного сюжета обладает большей семантической и ситуативной вариативностью. Будучи центрами оппозиционных семантических полей, рождение и смерть оказываются онтологически близки друг другу, на что указывала еще О. М. Фрейденберг. В мемуарной литературе на это указывает по крайней мере то, что рождение и смерть описываются как процесс преемственности поколений, обеспечивающий вечность бытия. Ощущение мимолетности и вечности одновременно: это связано, на наш взгляд, с особым ощущением времени в мемуаристике. С одной стороны, попытка ухватить, вспомнить, зафиксировать, оставить в памяти события, случаи, детали быстро проходящей жизни; с другой – осознание, что то, что записано, останется навсегда, не будет поглощено «жерлом вечности» (Державин) и не исчезнет. Как и сам мемуарист. Что в полной мере соответствует интенции самого мемуарного жанра – стремление к бессмертию. Тем более, что, описывая смерти других, сам мемуарист по отношению к рассказываемому остается в положении живого свидетеля происходящего для потомков и читателей последующих времен и поколений.

Список литературы

1. Тюпа В. И. Нарратология как тенденция развития современного филологического знания // Филология и человек. 2010. № 1. С. 179–188.
2. Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 417–430.
3. Долгорукая Н. Б. Своеручные записки княгини Наталья Борисовны Долгорукой, дочери г.-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева // Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 256–279.
4. Дашикова Е. Р. Записки // Записки из воспоминаний русских женщин XVIII – первой половины XIX века. М., 1990. С. 68–280.
5. Державин Г. Р. Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина // Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984. С. 24–246.
6. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
7. Лопухин И. В. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Записки сенатора И. В. Лопухина. Репринтное воспроизведение. М., 1990.
8. Новиков В. И. Масонство и русская культура. М., 1998.
9. Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. М., 2013. Т. 1.
10. Данилов М. В. Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–1762) // Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 282–350.
11. Климов А. Я. Похождение прапорщика Климова. СПб., 2011.
12. Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях // Фонвизин Д. И. Собр. соч. Л., 1959. Т. 2. С. 81–105.
13. Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. М., 1991.
14. Куракин Б. И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина им самим описанная. 1676 июля / 20 1709 // Архив кн. Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1. С. 243–287.
15. Zitser E. A. The Vita of Prince Boris Ivanovich «Korybut»-Kurakin: Personal Life-Writing and Aristocratic Self-Fashioning at the Court of Peter the Great // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2011. Bd. 59. Ht. 2. P. 163–194.

Литературная жизнь сюжета

16. Гузаиров Т. Т., Лейбов Р. Г., Сморгжевских-Смирнова М. А., Фрайман И. Д., Фрайман Т. Н. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы // «Цепь непрерывного предания...»: Сб. памяти А. Г. Тартаковского. М., 2004. С. 346–361.

О. А. Farafonova

Novosibirsk, Russian Federation

BIRTH AND DEATH IN THE PLOT OF RUSSIAN MEMOIRS OF XVIII CENTURY

In the present article Russian memoir texts XVIII century are considered in terms of general trends in the construction of memoirs of the plot, the allocation of these components, without which it can not do almost no autobiographical memory. These links of mandatory memoirs of the plot, of course, are the birth and death. The situation in the birth of Russian memoirs of the XVIII century. It is typically associated with the semantics of the start or continuation (genus, for example). Death as a memoir of the plot component is more semantic and situational variability. As centers of opposition semantic fields, birth and death are ontologically closer to each other. In memoirs on this indicates at least the that birth and death are described by as the process of continuity of generations, providing eternal life.

Keywords: memoirs, syuzhetografiya, death, birth, the author as an eyewitnesses, event.

Farafonova Oksana A. – Candidate of Philology, Assistant Professor of Russian and Foreign Literature, of Theory of Literature and a Technique of Teaching Literature of Novosibirsk State Pedagogical University (28 Vilyuiskaya Str., Novosibirsk, 630126, Russian Federation, oxana.faroks@yandex.ru)